

АНДРЕЙ БИНЕВ

ЕВРЕЙСКАЯ
РАПСОДИЯ

Трое

Андрей БИНЕВ

Еврейская рапсодия

«Автор»

Бинев А.

Еврейская рапсодия / А. Бинев — «Автор», — (Трое)

ISBN 978-5-373-03379-4

«С одной стороны толстой узловатой веревки – крюк в потолке, причудливо загнутый и с проседью от белил; с другой – я, худой, с черными выющимися волосами, с карими глазами, с большим, можно сказать, видным носом. Во всяком случае, так его всегда называла мама. На моей тонкой шее вальяжно лежит петля. Я бы даже сказал – элегантно. Она будто живая: как дремлющая змея, которая вот-вот захлестнет шею в последнем своем, подлом объятии... Такие петли часто показывают в старом американском кино. Я раскачиваюсь на табурете и с ужасом думаю, что ножки этой древней развалины расшатались так, что могут разъехаться раньше, чем я сам оттолкнусь от нее в вечность. В голове мелькает, что надо бы снять петлю и заменить табурет более надежным стулом, но потом решаю, что лучше просто не двигаться и думать о своем, то есть о предстоящем толчке или... прыжке. И я начинаю думать...»

ISBN 978-5-373-03379-4

© Бинев А.

© Автор

Содержание

Лукавый	6
Люстра	7
Узбеки по имени Боря и Иван или бараны лучше ослов	9
Табурет	12
Словарь – чтиво для десятого еврея	13
Право чужого выбора	15
Морозоустойчивые евреи	17
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Андрей Бинев

Еврейская рапсодия

Самоубийство, прежними уголовными кодексами каралось. Русский закон поныне карает умышленных самоубийц признанием недействительности завещательных распоряжений самоубийцы, а христиан, сверх того, лишает христианского погребения. Участие в самоубийстве приравнивается к участию в умышленном убийстве. Статистика указывает на сильное увеличение числа самоубийств с каждым годом во всех странах. Наибольший процент самоубийств дают душевнобольные и неврастеники, ряды которых умножаются алкоголизмом. Число самоубийств меньше между женщинами, чем между мужчинами; между евреями, чем между христианами; между католиками и православными, чем между протестантами; среди сельского населения, чем в крупных городских центрах.

Лихачев, «Самоубийство в Зап. Европе и в России», 1882. (из Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона)

«Мнение самоубийцы далеко не во всем и не всегда совпадает с мнением толпы..., так же, как мнение висельника чаще всего не совпадает с мнением судьи и палача»

Из предсмертной записки

С одной стороны толстой узловатой веревки – крюк в потолке, причудливо загнутый и с проседью от белил; с другой – я, худой, с черными вьющимися волосами, с карими глазами, с большим, можно сказать, видным носом. Во всяком случае, так его всегда называла мама. На моей тонкой шее вальяжно лежит петля. Я бы даже сказал – элегантно. Она будто живая: как дремлющая змея, которая вот-вот захлестнет шею в последнем своем, подлом объятии... Такие петли часто показывают в старом американском кино.

Я раскачиваюсь на табурете и с ужасом думаю, что ножки этой древней развалины расшатались так, что могут разбежаться раньше, чем я сам оттолкнусь от нее в вечность. В голове мелькает, что надо бы снять петлю и заменить табурет более надежным стулом, но потом решаю, что лучше просто не двигаться и думать о своем, то есть о предстоящем толчке или... прыжке. И я начинаю думать.

Но думать совсем без движения я не могу и поэтому осторожно, чтобы ненароком не разбудить случайность, поворачиваю голову. Мой взгляд попадает на пыльную поверхность шкафа. Я ничего не могу там разглядеть, но вспоминаю казавшийся когда-то забавным анекдот о том, как некий неудачник решил повеситься и вдруг увидел на верхней крышке шкафа сигаретный «бычок», выскользнул из петли и задумал покурить в последний раз. Потом он также «случайно» увидел на антресолях недопитую бутылку водки и допил ее. После этого вышел на балкон и, просветлев от неожиданных удовольствий, улыбнулся и подумал, что «жизнь налаживается!».

Сейчас мне не смешно. Во-первых, я никогда не курил, во-вторых, у нас нет антресолей (от чего вечно страдала моя мама: это казалось ей ущемлением исконных «прав человека» на жизненное пространство!), а в-третьих, в доме водки не водилось со дня смерти моего отца, горького пьяницы-еврея. Он и в этом был оригиналом.

Лукавый

А еще он не умел ловчить, за что его презирала вся наша многочисленная родня. Тоже, кстати, не умевшая ловчить, но самоуверенно думавшая, что умеет. Ему не доверяли соседи и коллеги по его безденежной работе. Как же, говорили они, еврей, который не ловчит, либо вовсе не еврей, но зачем-то врет, что еврей, то есть ищет какую-то непонятную выгоду; либо уж такой хитрый еврей и так лихо ловчит, что конца и края этому невидно. Никто даже не мог понять, где, когда и кого он обманывает. И главное: что он, в конце концов, с этого имеет?

А то, что отец горько пил и даже иной раз засыпал в тамбуре подъезда, так и не добравшись до квартиры, воспринималось вообще крайне подозрительно. Наш сосед, престарелый антисемит Коля Власкин, глубокомысленно изрекал по этому поводу за доминошной партией: «Примазывается, гад, к русскому пролетариату, а все как был жидом, так жидом и помрет!» Отец постоянно одалживал ему деньги на водку вечером и на пиво похмельным утром, а потом старался не встречаться с Колей Власкиным, чтобы тот не заподозрил, будто отец умышленно попадает на глаза и тем самым намекает, что пора бы, мол, вернуть все долги. Собственно, Коля, по его глубокому убеждению, ничуть не ошибся. Отец умер хитрым, мелочным «жидом», так и не спросив с Коли ни копейки, и оставив его в недоумении и раздражении. Явно, мол, в чем-то надул и смылся от ответственности. Жидом, в общем, помер!

Мать всем говорила, что отец умер от сердечного удара. Лгала. Он захлебнулся собственной рвотой ночью, во сне. Так в справке и написали: «рвотная асфиксия». Сам не посмотришь и людям не покажешь! Прямо, геморрой, а не справка! Вот с тех пор водки, даже недопитой, в доме нет.

Люстра

Я осторожно смотрю вниз, на диван. Наклонившись набок, на нем нелепо лежит мамина люстра, которую я снял с крюка, чтобы заменить ее веревкой. Мама бы мне этого никогда не простила. «Как, – сказала бы она, – тети Фаина антикварная люстра ему помешала! Тете Фае не мешала, дяде Боре не мешала, их сыну с русским именем Иван тоже не мешала... А ему, видишь ли, крюк понадобился!» Так бы и сказала! Она, люстра, конечно, им всем не мешала, потому что они не собирались экспериментировать ни с крюком, ни с веревкой...

Удивительная люстра! На длинной золоченой цепи, опускавшейся в нашей карликовой квартире так низко, что даже моя мама, с ее вполне подходящим под габариты этого жилища ростом, рефлекторно втягивала голову в плечи, когда проходила под ней. Пять розовых роговидных плафонов, посаженных на литые бронзовые розы, венчались в центре всего этого сооружения тяжелой перевернутой пирамидой, на кончике которой матово отсвечивал белого металла шар. Необыкновенно часто перегоравшие лампы заменялись с таким великим трудом, что мы, в конце концов, решительно отказались возиться с каждым плафоном, и с нетерпением дожидались, когда погаснет последняя из ламп. Только после этого, чертыхаясь и проклиная подарок тети Фаи, свинчивали розовые стеклянные рога и выдирали прикипевшие патроны стоваттовых ламп. В комнате из-за этого подарка всегда, как смог над пыльным городом, висел полумрак. Нервы у всех были на пределе.

Тетя Фая подарила моим родителям эту люстру на свадьбу. Люстра, как и сама тетя Фая, к тому времени уже была далеко не первой молодости. На пирамиде был вылит знак: «FS-S». Тетя Фая заговорщицки подмигивала маме и шептала: «Нет, ты понимаешь, что ЭТО значит? Ты догадываешься, что ЭТО? Ты знаешь, где ОНА светила, эта аристократка?» Мама понимающе кивала, но в глазах всегда замирало недоумение, замешанное на мистическом ужасе и осознании своей обреченности так никогда и не додуматься до разгадки. А, по-моему, тетя Фая прибегла к одному из самых коварных своих приемов – выдать заведомую рухлядь за антикварный товар. Выгодно во всех отношениях – приходишь на свадьбу не с пустыми руками, в то же время не тратишь ни копейки на подарок. Все остальные подарки блекнут на фоне этого кошмара, а главное – молодожены до «золотой» свадьбы ощущают себя неблагодарными животными из-за того, что на жалкий алтарь их мещанского счастья тетей Фаей принесена почти ритуальная жертва, и теперь их примитивные пустые головы освещены ярким огнем, в историю рождения которого посвящены лишь немногие. И все – в вечном, неоплатном долгу! С этой минуты тете Фае достаточно, лишь войдя в квартиру и увидев, будто впервые, свисающего с низкого потолка бронзового пыльного монстра, восхищенно всплеснуть ладошками и умиленно, с признаками непреходящей печали, наклонить набок голову. А потом с отчаянием вздохнуть, говоря всем своим видом, что материальная ценность этого великолепия возрастает с каждым годом и, конечно же, искупает все затраты и заботы до скончания века.

Тетя Фая постоянно упрекала маму: «Я оторвала этот раритет от своего больного, измученного сердца, я вырвала его из сокровищниц нашей семьи, а ты даже не удосуживаешься смахнуть с плафонов пыль и заменить какие-то жалкие лампочки. Верни мне все это обратно!» Мама начинала суетливо вымаливать прощение и, кряхтя, залезая на стул, добрых полчаса возилась с плафонами, тряпкой и лампами. Она обсыпалась пылью и заливалась потом, краснела и сопела. По окончании экзекуции тетя Фая великодушно, воздев кверху рисованную черным карандашом бровь, простила ее, а мама потом досадовала на себя, что не позволила тете Фае забрать ее ценный подарок назад.

Я же всегда подозревал, что люстру, до того, как ее подарить моим молодым и глупым родителям, тетя Фая с дядей Борей долго пытались приладить в угол одного из своих дачных

чуланов и раздражались тем, что для нее как раз и требуется средних размеров, совершенно пустой чулан. Больше бы там ничего поместиться не смогло!

Придурковатый сын тети Фаи и дяди Бори Иван как-то проболтался, что это произведение искусства с буквами «FS-S» было оставлено в их доме дяди Бориным кузенком, который, в свою очередь, вывез люстру в качестве военного трофея из Вены в самом конце войны. Она когда-то отсвечивала в дешевом ресторанчике «Фридрих Сократу-с» на окраине австрийской столицы. Кузен уволок ее как символическую компенсацию за свой киевский дом, разоренный западными арийцами. Иван проговорился и густо покраснел. Он, видимо, сознался в этом тете Фае, и в свой следующий визит на мамин день рождения она вынуждена была принести в подарок старую треснувшую тарелку с облупившейся картинкой: блеклой пастушкой неопределенного возраста, скрюченным подагриком-пастушком и облысевшим от времени ягненком. Еле просматривающийся вензель свидетельствовал о том, что кузен компенсировал свое разорение не одной только люстрой. Тетя Фая укоризненно посмотрела на глупого сына Ивана и, поджав ярко на помаженные губы, громко произнесла: «Это – произведение европейского искусства середины прошлого века. Береги его так же, как его сберегло время!»

Тарелку раскололи утром следующего дня: не опохмелившийся, раздраженный отец смахнул ее с кухонного стола вместе с мусором. Тетя Фая в свой очередной визит потребовала показать ей подарок. Мама посетовала на папину неуклюжесть, и тетя Фая, выразительно глядя на сына Ивана, заявила, что больше подарков от нее в этом неблагодарном доме не дождутся. Все с облегчением вздохнули.

Узбеки по имени Боря и Иван или бараны лучше ослов

А мама до сих пор не поймет, почему «красивому еврейскому мальчику» (для мамы это словосочетание носило, скорее, ритуальный смысл, нежели эстетический) дали простое русское имя Иван. Нет, мама никогда ничего против «русского» не имела! Просто ее всегда интересовали абсурдные ситуации, в которых итак или иначе участвовали евреи. Ей казалось и, наверное, кажется до сих пор, что в этом роковая суть еврейской истории. Евреи, убеждена моя мама, всегда присутствуют там, где их не ждут. А не ждут их везде! И вот, когда они появляются, немедленно возникают, не ее взгляд, абсурдные ситуации. Мама где-то вычитала, что в природе существуют только два состояния: «ждать и догонять». То есть единственное и потому самое трудное. Все народы якобы ждут чего-то благоприятного для себя, а потом начинают двигаться в этом направлении, то есть «догонять». Евреи, как она полагает, обречены общественным мнением только ждать! В этом суть их характеров, считает, заблуждаясь, остальной мир.

Она продолжает эту мысль, утверждая, что сорокалетнее блуждание народа следом за Моисеем по пустыне было единственным, что прощалось евреям. И только потому, что блуждали они по пустыне, никому не нужной, кроме них самих. А как только они из нее вышли, то сразу стали всем мешать. С тех пор занятие ими даже самого малого жизненного пространства, считается определенной частью человечества агрессией с их стороны. То есть они начинают «догонять», как и остальные народы. А это уж им никак не позволено! Один из корней антисемитизма в этом, считает моя мама. Она даже идет дальше!

Мама утверждает, что главной, тектонической платформой антисемитизма, то есть тем, что им постоянно движет, как земной корой, является обычный низменный прагматизм, исходящий как раз не из еврейской нации, а, напротив, целиком направленный против нее. И это даже на примитивной бытовой почве. Евреев подвергают обструкции, говорит мама задумчиво, потому что они..., то есть мы..., очень продуктивная нация. И, прежде всего, в творческом смысле, хотя и в демографическом тоже не на последнем месте. Это ее слова! Не мои! Мама развивает эту мысль: евреям дают возможность организовать нечто уникальное, с точки зрения других народов, а потом изгоняют их и присваивают себе все плоды. Что это, как ни прагматизм в самом циничном своем выражении! Особенно, если помнить, каким образом, иной раз, запредельно трагичным, осуществляются эти акции еврейской сегрегации. Но, с другой стороны, считает мама, это и есть искреннее, пусть и драматичное, признание еврейской национальной талантливости.

– Даже превосходства! – говорила мама и поднимала кверху палец и бровь одновременно.

Я попытался с мамой спорить, но мне не хватало аргументов, потому что ее аргументы носили серьезный исторический характер. Исключительный, с точки зрения логики! Она обращалась к истории человечества, в которую вплетались все трагедии «великого народа». Стоило где-нибудь (в Европе ли, в Азии, в Африке) разрастись еврейской диаспоре, как тут же начинались погромы. Единственным достижением в приобретении евреями своего временного дома мама считала «полосу оседлости» в императорской России. Она полагала, что это было уютной, тихой станцией между двумя крупными стоянками: Израилем и Израилем. Мама была страшно благодарна России за это. А вот разные там Америки, Бельгии и прочее она считает всего лишь милыми полустанками.

Это меня всегда жутко возмущало!

– В тебе говорит русское имперское мышление! – орал я в запальчивости спора, – ну, какие полустанки! Да там куча евреев! Им там рады, если хочешь знать! Они свободны в передвижении и в выборе профессии. А «полоса оседлости» – это гетто! Это позор! Сегрегация!

Русская революция во многом совершилась как раз из-за этого! Евреев загнали в самый дальний угол, а, как известно, в таком случае «страшнее зайца зверя нет»!

– Ты глуп! Во-первых, угол был не дальним! Украина и Польша – чудесные, плодородные земли, и люди... люди в своей массе, там добрые и участливые...

– Три миллиона евреев в Польше казнили с попустительством этих добрых и участливых людей! И еще не известно, сколько на Украине! – продолжал я негодовать.

– Молчи! Дай сказать матери! – хмурилась она, – Во-вторых, русскую революцию совершали не только евреи, но и латыши, и поляки и даже сами русские.

– И цыгане, и армяне, и грузины..., – перебивал я, – По той же причине, как и евреи.

– Ты сам себе противоречишь! – упрямо твердила мама, – Если евреи и приняли участие в революции в силу своей активности..., иными словами, стали «догонять», то им это, в конце концов, и поставили в вину, и это же у них и отняли. То есть совершили акт низменного прагматизма против них. Загляни теперь в какой-нибудь приличный отдел кадров и спроси, носатый ты мой, есть ли у них место для тебя. Раньше бы было, когда не ясна еще была общая перспектива, а теперь – нет. Потому что перспективу мы в этой стране и открыли. Мы сами во всем виноваты!

– О боже! – возмущался я, – да в чем же мы виноваты! В том, что делаем всё, как умеем? То, что это нравится другим? Что же теперь, плохо делать?

– Этого никто не говорит. Делать плохо не надо. Просто надо вовремя уходить. И не разрастаться!

– Как это не разрастаться! Не рожать, что ли?

– Рожать! Я же тебя родила, дурака! Но рожать для себя, а не для других. Внутри рожать...

– Внутри чего?

– Внутри себя. Ты это пока не поймешь.

– А в Израиле тоже надо внутри себя рожать?

– В Израиле – нет. Там «во вне» надо рожать. Для государства, для общества... А здесь – только для себя!

– Чушь какая-то, честное слово!

– Ты вот слышал когда-нибудь такое: «еврей в России больше, чем еврей, потому что он еще и антисемит»?

– Ужас какой-то!

– Возможно. Приписывают это Игорю Губерману, автору «Гариков». Я не читала его всего, не знаю..., но смысл у фразы кошмарный! Вот уж точно, «страшнее зайца зверя нет»! До чего ж довести ситуацию, чтобы самого себя отрицать! Вот и приходится «внутри рожать»... И Боря, мой братец, назвал своего сына Иваном по той же причине. «Еврей в России больше, чем еврей...».

Дядя Боря же всем говорил, что имя сына – знак благодарности еврейского народа братскому русскому. Как памятник почти эпического свойства. Нам же хитрюга дядя Боря рассказывал прямо противоположное. А именно, что Иван – исконно еврейское имя и пусть, мол, русские знают, что это так и никак иначе. Русские этого не хотели знать, зато были свято убеждены, что дядя Боря Штойтман хочет скрыть от общественности еврейскую национальность своего сына Ивана Штойтмана. И не только из-за имени и фамилии! Тому, что фамилия звучала совершенно не по-русски, никто уже даже значения не придавал. Там были такие уникальные обстоятельства, такая возмутительная анкета, что сейчас бы все это вместе взятое приравнивали бы к терроризму! Никак не меньше! Новые времена – новые вызовы! Когда Иван подал документы на журналистский факультет московского университета, некий чин в приемной комиссии даже тогда растерялся. Оторопело принял документы и стал дознаваться, кто этот носатый, темноволосый, серокожий, субтильный юноша. Не «узбекский» ли немец!

Из детей сталинских отселенцев! Оказалось, даже не немец, но было уже поздно. Иван успел поступить на факультет.

Получается, что мой дядя Боря обманул всех. Дело в том, что в паспорте у Ивана и у его отца Бори было нечто совершенно абсурдное в графе «национальность». Там было написано: «узбек». Во время войны дядя Боря был эвакуирован со своей сестрой, то есть моей мамой, и моей бабушкой Ираидой Моисеевной Штойтман в Ташкент. Там ему, дяде Боре, и исполнилось шестнадцать. Местный милиционер-узбек, часто захаживавший к ним в дом и не спускавший с Бориной мамы, то есть с моей бабки, своих черных раскосых глаз, не то искренне пожалел Борю, не то думал сделать семье что-нибудь особенно приятное, так все устроил, что в паспорте у Бори Штойтмана неожиданно появилась национальность «узбек». Ни бабушку, тогда еще молодую женщину, ни ее сына Борю об этом милиционер даже не спросил. Просто сделал сюрприз и всё!

Очень скоро милиционера арестовали за связь с английской, турецкой и персидской разведками. Ираиду Моисеевну по этому поводу вызвали на допрос. Участие безграмотного милиционера-азиата в мировом заговоре враждебных друг другу разведок вызвало у моей бабки искреннее изумление, обратным проявлением которого мог быть только восторг законченного идиота, который Ираида Моисеевна прочитала в ясных глазах следователя НКВД.

Следователь отправил бабушку в камеру для того, чтобы унять ее эмоции, но утром следующего дня убедился в том, что к давешним ее сомнениям прибавились дополнительные, связанные уже с ее новым положением. Бабка была сурова и надменна. Следователь даже растерялся. Он вновь спросил, кто был инициатором «обузбечивания» Бори Штойтмана, и на бесстрашный ответ Ираиды Моисеевны: «Советская эвакуационная география напополам с дальновидностью опытного агента иностранных разведок», лишь пожал плечами. Он произвел несколько отчаянных попыток записать все это в протокол, но так запутался, что, в конце концов, сократил бабкин ответ до одного слова: «Никто». Потом с облегчением вздохнул и указал Ираиде Моисеевне на дверь.

«Чтобы духа вашего здесь не было!» – милостиво ограничил этим следователь свой репрессивный зуд.

Бабка пошла к выходу из камеры допроса с гордо поднятой головой, а у двери даже задержалась на мгновение и, глядя поверх стриженной рыжеватой челки следователя, процедила сквозь зубы: «Вождь рекомендовал вам, молодой человек, трижды учиться. А вы и один раз этого не сделали. Стыдно! И за вождя обидно!» Следователь покраснел и хлопнул ладонью по столу. Этот звук слился с хлопком двери, закрывшейся за бабушкой, тогда, между прочим, молодой и соблазнительной женщиной.

Несмотря на то, что следствие, видимо, располагало и иными весьма оригинальными фактами участия милиционера-узбека в международной подрывной деятельности, его все же не расстреляли и даже не посадили. Из органов, правда, выкинули и сослали в дальний аул пасти баранов. Перед отъездом он зашел к Штойтманам, сел на стул рядом с дверью и стал молча всхлипывать, сглатывая свою горькую обиду. Ираида Моисеевна гладила его по бритому до синевы черепу и приговаривала: «Не переживайте! Все пройдет! А пасти скот куда более достойное занятие, нежели писать протоколы с ошибками, грамматическими и смысловыми». Не знаю, понял ли несчастный ее слова, но он вдруг согласно закивал головой и сказал неожиданно твердо: «Бараны лучше ослов».

А паспорт так и остался у Бори. Эта же запись перешла к Ивану Штойтману, по наследству. В паспортном столе, в его шестнадцатилетие, страшно негодовала пожилая паспортистка Ксения Воробьева. Она усматривала в этом древнее еврейское коварство. Думаю, что и тот чин в приемной комиссии тоже попался на противоречии лица, имени, фамилии и записи в паспорте, в пятой графе. Любой бы помешался!

Ох, уж мне эти евреи! Короли хитрости, цари коварства, императоры лжи!

Табурет

Тяжел узел, больно давит на затылок. Еще тяжелей узел жизни и смерти, крепко стянутого кем-то задолго до моего рождения.

Я отворачиваюсь от люстры и смотрю в зеркало, что отсвечивает в двери шкафа, и вижу ноги, табурет и левую руку, сжатую в кулак. Это – часть меня. Ботинки, как обычно, нечищенные. Мама бы вновь рассердилась: даже в столь ответственный момент я взгромоздился на прабабушкин табурет, не проявив и толики уважения к семейной памяти. Прабабушка табуретом очень дорожила, так как ее сколотил прадедушка в голодном тысяча девятьсот десятом году. Спросите, почему голодный? Отвечу так: потому что в доме у Моисея Израилевича и его жены Раисы Исааковны ничего, кроме восьмерых детей, не водилось. Поэтому каждый год был для семьи голодным. Так что, к настоящему голоду, который пришел много позже уже при Советах, они были готовы, как никто другой. В революционные годы в семье завелись уже и голодные внуки, и голодные зятя. Впрочем, зятя завелись, по-моему, даже раньше. Нет. Вру. Не у всех.

Однажды старшая дочь Моисея Израилевича забеременела и родила сразу двойню. «Что же будет, когда она выйдет замуж!» – воскликнул ее отец. Но замуж она так и не вышла, вина во всем многочисленных обитателей отчего дома: не было жизненного пространства для счастья маленького человека. Желающих «снять» койку в их общей ночлежке и расплатиться за эту койку всем своим будущим, не находилось.

Как-то, когда дети были еще совсем маленькими, а это все сплошь были дочери, один из случайных прадедовых собутыльников спросил его: «А хочешь ли ты, Мойша, иметь много дочерей, хотя бы вот пять?» Моисей Израилевич просветлел и воскликнул: «Спрашиваешь! Конечно, хочу!» «Зачем они тебе, Мойша?» – полюбопытствовал собеседник. «А затем, что их у меня сейчас восемь, а пять лучше, чем восемь», – спокойно и вдумчиво ответил мой прадед.

Потом я это слышал от посторонних как веселый анекдот, но в нашей семье к этой истории относились серьезно. Не до смеха была всем! Да и на прадеда моего это было очень похоже. А, может быть, действительно – обычный еврейский анекдот? С другой стороны, анекдоты как раз берутся из жизни. Больше-то ведь не от куда! Так почему, не из нашей?

Моисей Израилевич, вопреки расхожему мнению об обязательности национального промысла, занимался не торговлей и ремесленничеством, а ремонтом в Мариуполе паровых двигателей. Относил он себя исключительно к пролетариату. Платили за его мастерство чертовски мало, вот ему и оставалось только, что сколачивать в воскресные дни табуреты и продавать их на базаре за рубль пару. Один табурет, не имевший пары, так и остался в доме, и дожил до того, что правнук Моисея Израилевича взгромоздился на него нечищеными башмаками и накинул себе на шею веревку. Интересно, что бы по этому поводу сказал сам Моисей Израилевич? Наверное, заставил бы слезть и снять башмаки. Чужой труд надо уважать!

Словарь – чтиво для десятого еврея

Я опять смотрю на шкаф и на этот раз вижу обрез книги, голубой, с оборванным краем. Я начинаю гадать, что это за вещь, и вдруг вспоминаю, что это словарь французского языка. И вновь на память приходит узбек Иван Штойтман. Он жил у нас, когда в их квартире шли обыски. Его мама, тетя Фая, и моя надумали, наконец, уехать в Израиль. Дядя Боря, мамин брат, возмутился этим обстоятельством и позвонил в районный КГБ, почему-то видя только в этом спасение от развала семьи. Но сначала он все же обратился в теткин поликлиннику, в которой она работала в неврологическом отделении, к главврачу, в профком и местком. Там ему сказали, что тетя Фая, врач-невропатолог, давно уткнула из профсоюза, не платила взносы, а в партию никогда и не думала вступать. Сама партия тоже особенно не рвалась поставить в свои стерильные ряды строптивую еврейку-врачиху. Во всяком случае, никогда не спешила с этим. Как, собственно, и тетя Фая. Она даже любила по этому поводу высказываться:

– Мы с партией едины... в своем решении никогда не сожительствовать и отношений своих не оформлять. Редкое единодушие!

Получалось, что у администрации советского лечебного учреждения не было на нее никакого общественного влияния.

Дядя Боря стал тогда «влиять» на маму, то есть на свою сестру. И страшно негодовал, что она, в свое время, не стала узбечкой, а так и осталась еврейкой. При этом дяде Боре было совершенно безразлично, что его сестра родилась на пять лет позже его и что к ее рождению его «нареченный» отец-узбек не подавал никаких признаков жизни. Даже ходили слухи, что бывший милиционер сбежал через горный перевал в Афганистан, увел туда стадо советских баранов и теперь служит там в полиции. Действительно, видимо, оказался иностранным шпионом, но только не персидской и еще какой-то там разведки, а афганской. Впрочем, если это и не так, то все равно советские контрразведывательные органы сделали для этого все возможное и невозможное. Ни одной разведке мира не под силу завербовать того, кого эти органы могут вытолкать из страны взашей! Им бы премию выписать от какого-нибудь ЦРУ!

Но дядя Боря все равно страшно сердился, что мама не стала узбечкой, и вот, якобы, поэтому теперь вздумала уехать на чужую родину. На маму он все же «повлиял», хотя с формулой «чужая родина» она категорически не соглашалась. Она нервно спрашивала его:

– Ну, а где твоя родина, узбек?

– Моя родина – Советский Союз! – напыщенно заявлял дядя Боря и задира лоб кверху нос. Его лысина волнующе лоснилась, а на широкой переносице выступал мелким бисером пот.

– Твоя родина – Узбекистан! И родина твоего Ивана там же! Вот отделится Узбекистан от Советского Союза, что ты тогда запоешь?

– Ты не знаешь нашего гимна, дура! – горячился старший брат, и пел, фальшивя – «Союз нерушимый республик свободных...»

Дальше он слов не знал, но и этого ему для аргументации было вполне достаточно.

Мама все же, несмотря на недоверие к «фальшивым» аргументам брата, на некоторое время отказалась от «безумной» идеи. Но вот с тетей Фаяй у дяди Бори ничего не вышло. Тогда-то он и позвонил в КГБ.

– Вы понимаете, товарищ, – гнусавил в трубку дядя Боря, – я, конечно, далеко не коммунист... Но я сочувствующий! И я не могу видеть, как в гнусных сионистских лапах корчится мое семейное счастье!

Тетю Фаю вызвали на собеседование. Она повела себя там агрессивно и неуважительно к власти. Обозвала оперативника шовинистом и вредным дураком, если он идет на поводу у такого человека, как ее Борис.

– У этого типа, – кричала она, покрываясь пятнами, – не все дома! А уж когда я уеду, у него вообще никого, кроме Ивана, дома не останется. Иван может ехать ко мне. А этого большевика любите сами! Уверяю вас, это не самое приятное, что с ним можно делать! Хотя и с вами тоже!

Против нее на всякий случай начали какое-то уголовное преследование. Дважды обыскивали квартиру, и Иван временно переехал к нам. Он отчаянно боялся, что его вышибут из факультета.

Боялся не зря, потому что все-таки вышибли, а потом почему-то восстановили на вечернем. Думаю, дядя Боря и туда ходил со своей антисионистской пропагандой и уломал таки декана.

Иван переживал перевод на вечернее отделение очень остро, потому что там ему не светило французский язык. Он мечтал после учебы пойти на «иновещение». Хотел пропагандировать советский образ жизни, вопреки тому, что сам в этот образ никак не вписывался. Ну, ни по каким понятиям!

Дурак он, все-таки, этот Иван! Его спрашивали, ну почему ты хочешь говорить непременно по-французски, а он обливался своими горячими узбеко-еврейскими слезами и ныл, что так ему легче справиться с произношением – грассируется, видишь ли, одинаково. Но его, в конце концов, заарканили в советскую армию, в стройбат, раньше, чем у тети Фаи и обезумевшего от всех неприятностей дяди Бори закончился последний обыск. Тетю Фаю все же выпустили из осиротевшей без нее страны, а дяде Боре посоветовали с ней срочно развестись. Он так и сделал.

Тетя Фаия вышла там замуж во второй раз и родила уже в очень немолодом возрасте еще одного сына. Назвала его Борей. А дядя Боря ходил к нам и к своим друзьям и всем показывал фотографию щуплого младенца. Можно было подумать, что это он его сделал! «В КГБ покажи!» – мрачно сказала мама. Дядя Боря сморщил личико и беззвучно зарыдал.

К тому времени его сын Иван уже вышел из госпиталя, подчистую освобожденный от службы, с пометкой в графе о здоровье – маниакальная депрессия. А еще у него был осколочный перелом челюсти, сломаны четыре ребра и отбиты и без того больные почки. Так болезненно давалось ему постижение писанных и неписанных армейских уставов. К нему там почему-то прилипло прозвище «татаро-еврей», а он упрямо, до боли в собственных ребрах, до синяков под глазами, до разбитых в кровь губ настаивал, что как раз татарская-то кровь в его тонких жилах не течет. Можно было подумать, что там бурлила узбекская! Иван написал своей матери в Израиль: «Я бы чувствовал себя хорошо, если бы только не все это!» Вот идиот! Ну, не идиот ли!?

А теперь еще этот его французский словарь на шкафу! Форменный идиот!

Я вспоминаю, возможно, невыдуманную историю о том, как однажды еврей опоздал к Богу на прием, потому что, видишь ли, долго пересчитывал дома деньги, полученные от ростовщичества. Бог наказал за это его и весь еврейский род тем, что каждый десятый еврей теперь, мол, будет рождаться идиотом. Девять гениев, а десятый, ну, прямо, как третий сын в русской семье. Вот Иван и его отец Боря как раз десятые. Как они умудрились оказаться с двух сторон гениальной девятки, не пойму! Вероятно, потому что идиоты. Да еще, зная эту притчу, дядя Боря причмокивал губами и говорил, что у евреев гениев все равно больше, чем у русских. Там, мол, каждый третий такой, как у нас каждый десятый. Ну, где ему было знать, что он как раз десятый и есть!

Право чужого выбора

Итак, между крюком и моей шеей грациозно изгибается веревка. Впрочем, есть еще и мое продолжение – древний расшатанный временем и еврейскими задницами табурет. С чего это я на него взобрался? Лучше не задаваться этим вопросом, а то одно из двух: или сразу соскользну, или передумаю....

Собственно, это, видимо, и есть земная жизнь – балансирование между желанием и действием. Невидимая петля – на нашей шее с рождения. Повиснуть в ней когда-нибудь или так и стоять над бездной, не решаясь закончить все свои дела? Самоубийцы делают свой выбор, а остальные мучительно проживают целую жизнь, даже не подозревая, что имели этот выбор. Унизительно не знать, что, оказывается, можешь воспользоваться своим правом! А у этого права есть своя утонченная эстетика.

Она лишь относительно заключается в виде умело или дилетантски заплетенной вокруг шеи веревке. В действительности «петля» может принимать иные формы. Например, неудачную женитьбу...или замужество, выбор профессии или гибельный жизненный план. Может выразиться в алкоголизме, наркомании, обжорстве, в курении или еще в чем-нибудь, так или иначе сводящем все наши усилия выжить к нулю. Чем это лучше петли? Лишь растягивает агонию, позволяющую морочить голову себе и другим!

Один наш дальний родственник из русского колена, молодой и очень, очень неглупый парень, из семьи, о которой принято говорить – «хорошая русская семья», страшно, убийственно страшно пил. Как только смерть подступала к нему так близко, что сочилась черной кровью из разбитой башки или рвотой из его разинутой всегда голодной пасти, он кричал своей добрейшей тетке в телефонную трубку: «Помоги! Я знаю, ты не дашь мне сдохнуть!»

И она помогала. Она вытягивала его, напрягая все свои силенки, из пропасти, над которой он повисал. А через месяц всё начиналась сначала. Но однажды она нашла его почерневшим, обнаженным, с раздутыми членами, с отделившимся скальпом, в его двухкомнатной квартире на окраине Москвы. Он сидел в кресле перед работающим больше недели телевизором, откинув назад голову, а вокруг его распухших черных ног стояла батарея опорожненных им же бутылок вина и водки. Рука лежала на телефоне. Может быть, в последний момент он еще хотел ей позвонить, а может быть, и отказался, лишь сбив трубку. Тетка поэтому и не сумела дозвониться до него и услышать в очередной раз «Помоги! Ты не дашь мне сдохнуть!»

Он шел к смерти, балансируя между ней и пустым, мучительным существованием. Он не мог не осознавать этого! Он сам залез в свою петлю и сам же затянул ее у себя на шее. Сделал свой выбор. Разве, он не самоубийца?

Боже! Какой болью эта смерть отозвалась тогда во всех нас! Она до сих пор не проходит. Так и увязла у нас в крови! Этот небольшой, горячий ручеек русской крови, сочащийся из наших еврейских жил. А, впрочем, и смерть моего еврейского отца ничем не отличалась от этой. Сейчас я думаю, что тот сгусток рвотной массы, которой захлебнулся этот еврей, был той же петлей, теперь лежащей на моей шее.

Христианская церковь не прощает своей пастве прямого, явного самоубийства, отказывает в захоронении на своих кладбищах, не поминает в молитвах! А вот за медленное самоубийство не всегда даже просто журит! Однако же я что-то припоминаю о сомнениях, которые вызвала смерть этого нашего русского родственника, у священника в храме. Он долго размышлял над тем, как отнестись к душе усопшего. Не равно ли это греховному самоубийству? Но в последний момент сжалился над родней и отпел несчастного. Но вот ведь думал же! Думал! Сомневался! Значит, не одна петля являет собой примету этого страшного, не искупаемого греха!

Хотите еще пример? Извольте! Венчается пара. Через год, через два, через десять лет для одного из них или для обоих сразу этот брак становится невыносимым. Или как говорят судебные медики в иных случаях: «несовместимым с жизнью». Но церковь отказывает в разводе по той причине, что брак уже совершен на небесах. Остается либо мучиться до естественной развязки хотя бы одного из пары, либо разлететься в разные стороны и жить в грехе. Это ли не петля на шее? Это ли не медленное умерщвление души? Но таких хоронят на кладбище, хотя они ничем не лучше самоубийц.

Еще пример, если пожелаете! Кто-то бросается во все тяжкие, начиная свое дело. Набирает кредиты, платит за торговые площади, нанимает работников, обещает, лжет, ворует, убегает, скрывается, мистифицирует и так далее, и так далее... И делает это не впервые! Однако же всегда думает обмануть судьбу. Но он ведь точно знает, что и на этот раз не будет удачи, потому что у таких, как он, ее никогда не бывает! Но лезет и лезет в петлю! В петлю! И такого тоже потом, после того, как его пристрелят или же сам сдохнет от сердечного приступа, хоронят на кладбище. Он-то чем лучше самоубийцы? Разве он не знал с самого начала, что все, что он ни делает, ведет к преждевременной смерти? Знал! Определенно знал, но упрямо делал свое дело! Как я сейчас, стоя на табурете, с петлей на шее.

Так почему же нам, кто честен в своем решении, отказано в праве выбора? Почему мы не можем все закончить раньше, без мучений? Самоубийство – это эвтаназия, когда анамнез «большого» самым естественным путем приводит к петле.

Что-то я сильно разволновался! Ноги заелозили на табурете. Так, пожалуй, не все успеешь вспомнить! А ведь я ворошу время, чтобы зацепиться хоть за что-нибудь! Хоть за что-нибудь! Утопающий за соломинку... Ведь у меня все еще есть право выбора? Или уже нет?

Морозоустойчивые евреи

...Скользу взглядом по комнате и попадаю на подоконник. Там боком лежит сафьяновый альбом, а из него торчит фотография. Я приподнимаюсь на цыпочках, балансируя на табурете, и пытаюсь разглядеть фото. Все-таки, в последний раз...Любопытно. От жизни надо успеть взять как можно больше, а смерть тебя сама одарит, чем может – тишиной и безвременьем. Абсолютно еврейский принцип! Национальное ноу-хау. Остальные не додумались. Поэтому евреи всех умней, хитрей и предприимчивей.

На ум приходит еще один анекдот. О еврейском ноу-хау. В концлагере еврея-дантиста отправляют в душегубку, а у эсэсовца не вовремя разболелся зуб. «Хочешь продлить себе жизнь, жидовская морда?» – спрашивает он дантиста. «Хочу» – говорит хитрец. «Будешь жить,» – отвечает фашист, – «пока лечишь мне зуб». «Пятьдесят марок с вас!» – отвечает смертник. Ноу-хау!

Я все-таки распознаю уголок изображения на цветной фотографии – это Исаак Лотман стоит около какого-то таежного дерева. И улыбается, хитро так, краешками своих больших губ. Я не могу разглядеть всю фотографию, но хорошо ее помню. Сам снимал когда-то в Биробиджане. Исаак говорил, что евреи, живущие в тайге, особый вид – «морозоустойчивые». Так и говорил – мы – «морозоустойчивые евреи». И здесь выживают!

У них там, в Биробиджане, странно действуют математические законы. Они их отражают в статистических отчетах. Вот, например, каждый год на Землю обетованную уезжает пять тысяч сынов Моисеевых, и остается пять тысяч в тайге, тоже ставшей обетованной. И так каждый год! Откуда постоянно берутся пять тысяч уезжающих и пять тысяч остающихся, одному Богу известно! Тоже ведь ноу-хау. Но, правда, по-моему, не еврейское, а чье-то другое. А то, представляете, пять тысяч было и все эти пять тысяч уехали, а область-то все по-прежнему Еврейской автономной зовется. И ни тебе больше щедрых подарков от американских или французских евреев, ни тебе помощи из самого Израиля. А разговоров, разговоров не оберешься! Ну, что будет с областью? Вся так и прокиснет в осенней таежной распутице.

Евреи здесь делятся на две равные городские фракции. Одни считают, что их сюда привела вера в коммунизм и в высшую справедливость, а дорогу им показала, вместо Моисея, партия. И не через пустыню, а через Уральский хребет и всю бескрайнюю морозную Сибирь. Другие же убеждены, что партия их сюда не вела, а наоборот шагала следом, как заградительный отряд, чтобы никто не вздумал вернуться. И дождала до Амура и китайской границы. Эти евреи называют Израиль родиной и как раз они и уезжают в количестве пяти тысяч человек каждый год. А первые родиной считают «тайгу обетованную» и составляет те самые пять тысяч, которые каждый год, вопреки всем математическим законам, остаются в Биробиджане. Вот здесь и возникает та самая загадка: откуда берутся постоянно пять тысяч евреев? Ведь не едут же они сюда каждый год, как при Сталине? Может быть, кому-то бы и хотелось, чтобы именно так и было, но где взять такое количество бойцов в «заградительные отряды»? И как предусмотреть побег из этой свободной, обетованной тайги?

Нет! Определенно, все это какая-то мистификация!

К тому же, здесь любят шутить, что лучше иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких на Дальнем.

Исаак Лотман по секрету сказал мне, что на самом деле он почти русский, и его фамилия написана неверно, он – Лотманов. Так ему говорил отец в бреду, перед смертью. При этом Исаак виновато улыбался своими жирными губами, морщил нос, даже больший, чем у меня, и смотрел своими печальными, какой-то неславянской печалью, глазами. Может быть, он и русский! Кто знает? Отец его, к тому же, был комсомольским вожаком и даже строил со своей молодой женой Соней биробиджанский вокзал. А теперь его почти русский сын Исаак зани-

мает ответственную должность в городе – не самую главную, но от этого не менее ответственную. Начальник у Исаака Лотмана – светлый, бандитского вида хлопчик. Крупный такой, молчаливый и до боли в желвачных скулах злой. Ездит с огромной охраной на черной дорогушей машине, время проводит на вилле, либо в бане с китайками, которых здесь в избытке. Вообще, исчисление китайцев в этих местах тоже не поддается никакому математическому методу. Это даже сложнее, чем история с евреями. По одному и тому же паспорту сюда приезжают десятки, а, может быть, и сотни китайцев и китайнок. Потом они по тому же, или по другому, паспорту возвращаются к себе в Китай, и они же, или такие же, как они (черт их разберет!), вскоре возвращаются назад.

Исаак все время несмело улыбается своему хмурому русскому скуластому начальнику, и, похоже, все понимает с первого взгляда, то есть – угадывает самые скрытые желания. Но в отличие от того дантиста из концлагеря, про пятьдесят марок даже не заикается.

Именно потому, что все понимает. Я как-то видел документальный фильм про вечные еврейские страдания, так там ведущий за кадром сказал удивительную вещь: «Еврей – это тот, кто все понял». Так вот, я глядел на Исаака и думал, что его отец перед смертью действительно просто бредил чужой русской фамилией. Исаак ведь явно все понял. Да еще как понял!

Однажды утром он открыл газету и с ужасом ее смял. «Что?» – спросил я его, – «неладно?» «Не просто неладно! А очень даже неладно!» – печально ответил Лотман.

Исаак долго сокрушенно чмокал губами и, наконец, выдал из себя: «Ну, куда они лезут, эти евреи! Ну что им нужно от этой власти! И президенту советуют, и телевизор с радио делают, и газеты пишут, и нефть качают... Мало нам проблем и без этого!» «Ну что ты!» – успокаивал его я, – «Чего же тут дурного!»

«Ты – мальчишка! Ничего не понимаешь!» – горячился он. – «Ведь специально всех расставляют по горячим местам, чтобы потом с нас и спросить. С кого-то ведь надо! Ненавижу евреев... пекущихся о власти. Они все портят! За их дела потом со всех спросят! Ошибаются не больше других, а спрашивают как с единственных!»

Странные они, эти биробиджанские евреи. И у власти плохо, и без власти никак... Как будто, они все десятые. И чего боятся! Сам же Исаак где находится? Вторым, после первого, светловолосого славянина!

Вообще в России веками складывается странная, абсурдная ситуация. Стоит опубликовать биографию «свежего» политика и упомянуть, что в его жилах течет наряду с русской и еврейская кровь, как на лицах параноиков и той и другой национальности появляются злорадные улыбки. Одни ухмыляются, видя в этом намек на «всемирный сионистский заговор», а другие – мол, «знай наших». И те, и другие, кроме русского языка, как правило, никакого не знают. Спроси любого из них хоть какие-нибудь подробности из их религиозных доктрин (православия или иудаизма, соответственно), они немедленно растеряются, начнут шлепать губами и нервно спрашивать: «А при чем здесь это!» Как будто бы совсем не при чем! А, может быть, в самом деле – «не причем»?

А тем временем между ними простирается целая страна, в которой подчас нет места ни одним, ни другим. Они питаются гордостью, в основе которой комплекс глубочайшей неполноценности. И эта «неполноценность» не имеет ничего общего с реалиями. Они похожи друг на друга, как родные братья, но, разве что, не поделившие огромного наследства своего отца: истории государства Российского. Гордость и упрямство заменяет им самую высокую ценность – жизнь. Ту самую жизнь, которую я сейчас оплел пеньковой веревкой.

В этом самом Биробиджане меня познакомили с одним гордым пожилым евреем. Таким патологически гордым, что он, пожалуй, единственный составлял свою собственную неприступную городскую фракцию. У него был скрипучий голос, одесский говорок и заметный дефект речи: вместо «л» он произносил «у», а все шипящие смягчал до тонкого змеиного свиста. К тому же он еще слегка заикался, но, правда, всего лишь раз в десять секунд беспрерыв-

ной речи. В Биробиджан он приехал лет двадцать назад из пригородов Одессы, разобидевшись на местных антисемитов. «Если еврею нет места среди вас, то ему место в тайге!» – гордо заявил он в местной партийной ячейке. Тогда он еще был членом коммунистической партии.

Что там случилось, в одесском пригороде, и почему там не оказалось места для этого гордеца, наверное, никто бы никогда не узнал, если бы следом за ним не приехал в Биробиджан еще один беженец в тайгу. Это был управляющий крупным бакалейным магазином, избравший «мягкую» добровольную ссылку вместо «строгую» направления почти сюда же на лагерную каторгу за «перманентные злоупотребления». Это он так говорил о себе. Ему нравился термин «перманентная революция», введенный другим евреем, расплатившимся потом за это собственной головой. Но слово «революция» не очень подходило управляющему бакалейным магазином, зато «перманентные» – звучало, вроде бы, неплохо. О своем гордом земляке он рассказал две истории, о которых еще долго вспоминали активисты города.

Косноязычному гордецу с детства вбили в голову, что он прирожденный артист или, по крайней мере, диктор радио. Мол, очень узнаваемый голос и оригинальная манера выговаривать даже самые простые слова до их полной неузнаваемости. С какой целью его в этом убеждали, не известно, но посеянное семя взошло и заколосилось. Бедняга, как только осознал себя, обратился в местный радиокомитет и потребовал допустить его до конкурса дикторов. Никакие увещевания и уговоры на него не действовали. Он упрямо шепелявил, что природа одарила его уникальным талантом и что, как ему достоверно известно, психофизическая нагрузка во время прямого радионного вещания такова, что увлеченный и талантливый человек, заикающийся в жизни, абсолютно безупречен в эфире. По нему выходило, что его творческий импульс беспределен, что истинное «Я» живет в ином, отличном от бытового, измерении. Начальство в радиокомитете, наконец, поняло, что этот как раз тот самый случай, когда легче отжаться, чем объяснить, почему это невозможно. И несчастного заику допустили до конкурса и пробной записи. В результате никто, кроме него, не сомневался. Конечно же, конкурс был провален с треском, заиканием и свистом. Гордец ушел, задрал голову, со святой уверенностью, что талант его загублен сворой антисемитов, самыми рьяными среди которых были истинные еврей-предатели – председатель комиссии Семен Ламбровский и главный режиссер местного радио Яков Шлейх. Он так до сих пор и думает. «А как же Левитан!» – спрашивали его. «Исключение лишь п-п-подтверждает п-п-правило!» – парировал неудачник, печально вздыхая. При этом заикался на буквах «п» в двух последних словах.

А вот факультет инженеров железнодорожного транспорта он окончил с отвращением, хоть и с отличием. Когда его спрашивали, почему именно сюда он пошел после неудачной попытки заняться гуманитарным творчеством, он гордо отвечал: «П-п-п-онравилась аббревиатура: „инженер жд-транспорта“». Но и здесь его подкарауливали неприятности, которые, собственно говоря, и сыграли решающую роль в пользу эмиграции в тайгу. Это и было второй историей, которую шепотом, под большим секретом, поведал городу жуликоватый земляк гордого и стойкого одессита.

Как-то он был избран участником областной партконференции и, чуть было даже не угодил в президиум. Но тут местный секретарь, в самом деле, убежденный малороссийский шовинист, потребовал вычеркнуть его из списков, ревниво наблюдая за тем, чтобы фамилии всех, кто украшал президиум, имели сугубо славянские корни и окончания. Разгадав заговор против себя, гордец уселся в первом ряду и вальяжно завалился набок, перебросив ногу за ногу. По его независимому виду всем сидящим в президиуме было ясно, что светлый ум никому не замутировать, а гордый стан не согнуть в лакейскую дугу. Это было ясно и секретарю, который, читая доклад о достижениях «вверенной ему административной единицы» в юбилейный ленинский год, постоянно сбивался под взглядом рядового члена партии, нагло буравившего его своими неславянскими глазами из под неславянских густых бровей.

Утром следующего дня гордеца пригласили на бюро райкома партии и попросили объяснить:

– Почему вы, коммунист, проявили демонстративное неуважение к теме партконференции, и особенно, к ее «ленинскому» разделу, своей явно оппозиционной позой с выпячиванием половинки зада над сидением стула и крестом, полученным в результате намеренного перекрещивания ног перед лицом докладчика и президиума, в то время, как эта поза неестественна и неудобна, а значит вражески злонамеренна, да еще в такой ответственный для родины и партии час, когда вся прогрессивная общественность не спускает глаз с наших достижений, а агрессоры только и ждут разных таких поз на ответственных партконференциях?

Так и было сказано и зафиксировано в обличительном протоколе местного бюро. Дело шло нешуточное. А гордец лишь усмехался и потирал руки:

– Ага! Испугались! Это вам не речи с трибуны говорить! Нашла коса на камень...

Разнесчастная его супруга закатила истерику, в которой прозвучал весь стандартный набор. От слов: «Не даром говорила мне моя бедная мать...» до слов: «Ты загубил мою жизнь и занес топор над головами детей».

В конце концов, супруга добилась встречи с неприступным «людоедом-секретарем» (определение гордеца!) и сунула ему оправдательную справку о том, что ее муж, такой-то, такой-то, не мог сидеть прямо на стуле, так как на причинном месте созрел болезненный чирей, с чем он накануне обращался к врачу Лазарю Исааковичу Когану, «о чем и свидетельствует справка».

Секретарь вновь собрал бюро, вызвал на него наглого гордеца и зачитал вслух решение партийного коллектива:

– В связи с тем, что на зад у такого-то, такого-то, зреет чирей, снять с него все подозрения в политической неблагонадежности и обязать вылечить данную вредную болезнь в кратчайший срок, о чем отчитаться перед бюро.

Демонстрировать свой чирей членам бюро было признано актом необязательным, лишь на усмотрение коммуниста, чье персональное дело здесь же и рассматривалось. Физиономия секретаря выражала одновременно: и справедливое благодушие и мелкое злорадство от унижения гордого инородца. Инородец при этом ни сном, ни духом не знал о справке. Сначала он опешил, разинул рот, но даже не сумел выдать из себя ни одного свистящего «дефектного» звука. Когда же его глаза встретились с глазами секретаря, решение в гордой голове созрело мгновенно. Он широко расставил ноги, раздвинул плечи и громко, ничуть не шепелявя, не заикаясь, видимо, в самом деле, в силу особой психофизической нагрузки, изрек:

– Я настаиваю, чтобы бюро убедилось в том, что коммунисты области – люди вполне здоровые.

С этими словами он стащил с себя штаны, развернулся тылом к членам бюро и выставил на показ совершенно свободный от чирьев зад. Наступил общий столбняк, и в его вязкой тишине лишь громко звякнула об пол пряжка ремня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.